
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И МЕМУАРЫ

В. А. ПОССЕ

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
(1864—1917 гг.)

РЕДАКЦИЯ и ПРИМЕЧАНИЯ Г. П. КОЗЬМИНА

С ПОРТРЕТОМ АВТОРА



«ЗЕМ. И. ФАБРИКА»
МОСКВА — 1925 — ПЕРМОГАТ

СНОВА ЗА ГРАНИЦЕЙ (1893 — 1894 гг.)

Первая книга. — Экзамен и докторская диссертация.

Приехав в Иену, я под свежим впечатлением от пережитого оформил свои русские впечатления в ряд бытовых полу-беллетристических очерков, которые были напечатаны в первых шести книжках «Недели» за 1893 год под общим названием «На холере».

П. А. Гайдебуров писал мне о них с большой похвалой и сообщил, между прочим, что некоторые из очерков переведены на французский язык и печатаются в парижском «Фигаро». Сообщил он также, что очерки чрезвычайно заинтересовали читателей «Недели», которые запрашивают редакцию, кто скрывается под инициалами В. П.

Но критика молчала. В обзорах толстых журналов о моих очерках не упоминалось ни слова, и это меня огорчало. Я не знал тогда, что очерки с большим интересом читали два человека, мнением которых я дорожил неизмеримо больше, чем мнением всех критиков, взятых вместе.

Эти два человека были: Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов.

О мнении Толстого я узнал в начале 1895 года, когда ко мне явилась Ольга Константиновна Дитерихс, сестра жены Черткова, Анны Константиновны, и невеста сына Толстого, Андрея Львовича, с просьбой разрешить выпуск моих очерков отдельной книжкой в издании «Посредник».

Она сказала мне, что это желание Льва Николаевича Толстого, которому очерки очень понравились.

Я, конечно, с радостью согласился.

О мнении А. П. Чехова я узнал лишь в 1918 году, т.-е. через 25 лет после того, как напечатаны были мои очерки, и через 14 лет после смерти Чехова.

Осенью 1918 года я сидел в полтавской тюрьме.

Доктор Волькенштейн, чтобы развлечь меня, прислал мне том с письмами Чехова. Каково же было мое изумление, когда в одном из писем Чехова к А. С. Суворину за 1893 год я прочел отзыв о моих очерках.

Чехов сообщал Суворину, что он читает «Книжки Недели», которые считает наиболее интересным журналом, и обосновывал это тем, что в них, между прочим, печатаются очерки «На холере» какого-то заграничного врача. Очерки эти, писал Чехов, должен прочитать всякий, даже такой чрезмерно занятой человек, как Суворин.

когда получил первую статью самого непоколебимого из ортодоксальных марксистов, Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

В декабрьской книжке за 1899 год Владимир Ильич поместил «Ответ П. Нежданову», а в январской и февральской книжках за 1900 год две статьи «Капитализм в сельском хозяйстве». Подписывал он свои статьи в «Жизни» Владимир Ильин.

Из переписки Ленина с Потресовым, опубликованной ныне в Ленинских сборниках, видно, что Ленин, будучи в ссылке, внимательно следил за «Жизнью» и «Жизнь» ему нравилась.

«Недурной журнал! — пишет он 27 апреля 1899 года Потресову. — Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!»

Думаю, что беллетристика в «Жизни» за все два с половиной года ее существования была «лучше всех». И лучшим беллетристическим произведением из всех, напечатанных в «Жизни», была повесть Антона Павловича Чехова «В овраге».

Чехов с большой симпатией относился к «Жизни».

Он прислал для январской книжки 1900 года «В овраге», едва ли не лучшее из всех своих произведений.

«В овраге» появилось в той же книжке, где была напечатана первая статья Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве». Уверен, что Ленин читал повесть Чехова с таким же восторгом, как и все мы.

— Это, друг мой, у Антона Павловича поразительно хорошо вышло, — говорил мне Горький. — И есть у него что-то новое; что-то бодрое и обнадеживающее пробивается сквозь кромешный ужас жизни.

Радость и гордость, что Чехов прислал в «Жизнь» такую превосходную вещь, как «В овраге», эту поистине трагедию обыденной жизни, были в значительной степени подорваны непростительной неряшливостью, допущенной нашей типографией.

Как раз с января 1900 года «Жизнь» перешла в свою типографию, и я надеялся, что благодаря этому, техническая сторона журнала, и раньше не плохая, будет теперь доведена до совершенства. А на деле... повесть Чехова была напечатана без поправок, сделанных во второй корректуре автором, несмотря на то, что я настойчиво просил управляющего типографией и корректора особенно тщательно исправить замеченные опечатки.

Конечно, был виноват и я, не проверивши лично, исправлены ли опечатки. Правда, это было начало года, и я был завален работой, но все же и до сих пор у меня всегда подымается в душе неприятное чувство досады, когда я вспоминаю эту оплошность.

Чехов был ужасно огорчен.

«Такое обилие опечаток для меня небывалая вещь и представляется мне целой оргией типографской неряшливости, — простите мне это раздражение...» — писал он мне из Ялты.

Я тотчас написал Чехову, что огорчен не меньше его, и одновременно послал ему отдельное издание «Фомы Гордеева», которого Горький, как известно, посвятил Чехову, в изящном переплете. В ответ получил письмо, чрезвычайно характерное для Чехова по своей мягкости и деликатности.

«Многоуважаемый Владимир Александрович, — писал он, — «Фома Гордеев» да еще в превосходном переплете — это ценный, трогательный подарок. благодарю вас от всей души. Тысячу раз благодарю! Я читал «Фому» только урывками, теперь же прочту, как следует. Печатать Горького урывками и по частям нельзя; или он должен писать короче, или же вы должны помещать его целиком, как это «Вестник Европы» делает с Боборыкиным. Кстати сказать, Фома имеет успех, не только у умных, начитанных людей, у молодых также. Я раз подслушал в саду беседу одной дамы (петербургской) с дочерью: мать бранила, дочь хвалила.

За опечатки я сердился не на вас, а на типографию. Теперь у меня отлегло, я забыл про них, но мною руководил не столько гнев, сколько рассуждение, что типографии необходимо пробирать почаще. Типография и контора — это всегданняя оппозиция журналу, т.-е. редакции, ибо редакции трудно и почти невозможно, при нашей культурной отсталости, иметь и в типографии и в конторе **своих** людей. Добрых людей много, но аккуратных и дисциплинированных совсем мало. Надо бороться и с опечатками, и со шрифтом, и проч., иначе эти мелкие назойливые промахи станут привычными; и журнал постоянно будет посить на себе некоторый, так сказать, дилетантский оттенок. А бороться, по-моему, можно только одним способом: постоянно заявлять о замеченных ошибках.

Во всяком случае вы не огорчайтесь очень, не сокрушайте ваших нервов, а, напротив, торжествуйте, так как дела ваши великолепны. «Жизнь» сильно читают.

Ох, я все о том же: пришлите мне хоть пять оттисков. Мне это нужно, нужно прежде всего для Маркса, потом заграничным переводчикам.

Гонорар я получил, спасибо. Итак, не огорчайтесь и простите, что я своим сердитым письмом нагнал на вас дурное настроение.

Больше не буду писать таких писем. Желаю всего хорошего.

15/II. Ялта.

Преданный А. Чехов.

Достоевский говорил, что когда соберутся русские люди, они непременно заговорят о боге. Чехов говорил, что когда русские люди соберутся, они непременно заговорят о женщинах и о возвышенных материях.

Мы с Горьким никогда не говорили ни о боге, ни о возвышенных материях; очень редко говорили о женщинах. Мы больше всего говорили с ним о «Жизни», о литературных планах и о том времени, когда, наконец, можно будет писать свободно обо всем, что наболело на душе.

На другой день мы ехали уже на самолетском пароходе. Горький сидел с баронессой в ярко освещенном салоне первого класса, а я с темной палубы в окно наблюдал их.

Баронесса, когда-то хорошо созданная, а теперь хорошо сделанная, затянутая в дорогое платье, с лицом, искусно подправленным, щекотала Горького своими лукавыми глазами и что-то оживленно говорила ему, изящно раскрывая свой ротик.

Горький сидел перед нею, вытянув вперед шею, потирал ладонь к ладони свои длинные белые руки и смущенно улыбался, при чем все его лицо морщилось, точно он глотал, что-то одновременно и очень кислое, и очень сладкое.

— Ну, и баба! — сказал Горький, когда мы улеглись в своей каюте. — Сразу начала говорить о том, что я необыкновенно тонко и верно описал состояние Фомы при его первом сближении с женщиной. Видно, ей не раз приходилось наблюдать такие переживания.

И тут мы стали говорить уже не о «Жизни», а о женщинах, но высоких материй не касались.

Помню другую весну, когда мы с Горьким катались на лодке по улицам Нижегородской ярмарки, залитой волжским разливом. Странно было ездить по этому мертвому городу с длинными, неуклюжими, скучными зданиями, обвешанными разнообразными вывесками, на которых красовались мне неизвестные, а Горькому хорошо известные имена и фамилии именитого русского купечества.

Горький сначала рассказывал о ярмарочном разгуле, а потом разговор свернулся на нашу любимую тему, на литературу. Горький говорил, что необходимо добиться фактического сотрудничества Чехова, необходимо добиться, чтобы Чехов писал только в «Жизни».

— Чехов, — говорил он, — это силища и наш общий учитель. Он создал новый стиль и далеко шагнул вперед по сравнению с Тургеневым.

— Неужели ты ставишь Чехова выше Тургенева? — спросил я.

— А ты, что же, этого не понимаешь? Тургенева скоро читать перестанут, а Чехов еще весь впереди, его еще не раскусили.

Заговорили об отдельных рассказах Чехова. Горький, помню, восхищался рассказом Чехова «Володя большой и Володя маленький», а я считал его «пустяком». Теперь я думаю, что Горький был ближе к истинной оценке Чехова и Тургенева, чем я.

Кажется, этою же весною мне пришлось присутствовать при встрече Горького со священником Григорием Спиридоновичем Петровым, проповедями которого в то время увлекались в Петербурге даже многие неверующие.

При выборах в Первую Государственную Думу Петров вмешался в политику, занял левую позицию и вынужден был снять рясу. Проповедь он сменил на лекции и сделался одним из самых популярных лекторов в России.

Но тогда он еще носил рясу, которая очень шла к нему. И, хотя говорил уже очень либерально, но продолжал служить обедни, превращать вино в кровь, просфору в тело господне и давать уроки детям великих князей.

Он проезжал через Нижний «на голод» в сопровождении одной из моих племянниц, молоденькой курсистки, за которой слегка ухаживал, играя красивыми глазами и потряхивая черными кудрями.

Я жил у Горького. Ко мне зашла моя племянница и попросила меня узнать, не примет ли Горький Григория Спиридоновича, который очень высоко ценит его талант?

— Пусть приходит, — сказал Горький.

Встретились в столовой, где стол по случаю пасхальной недели приятно ухмылялся бутылками и разными вкусными яствами. Молча пожали друг другу руки. Петров — приветливо улыбаясь, Горький — почему-то хмурясь.

Петров уселся против Горького и, видимо, несколько растерялся под хмурым взглядом хозяина. Затем начал говорить о том, что ему уже давно хотелось познакомиться с Горьким, что он с огромным интересом прочел два тома его рассказов, и далее, в том же духе.

Горький молчал и, свертывая папироску, изредка бросал взгляды на священника.

Петров заговорил о голоде, о равнодушии власти к положению голодающих, о необходимости создания оппозиционного общественного мнения, и далее, в том же духе.

Вдруг Горький прервал Петрова и, глядя на него в упор, спросил своим глухим басом:

творческая сила. Слова должны вылетать, как куски раскаленной стали...

Труд — творец жизни, а его песня должна быть боевой, требовательной, гордой, радостной.

Таков был смысл слов Горького.

В Ялте я пробыл дней десять. Каждый день виделся с Чеховым. Днем встречались на набережной и гуляли вместе. Вечером мы с Горьким приходили к нему на его виллу. Обыкновенно приходил и Миролюбов. С Чеховым я чувствовал себя легко и просто. Был он тихий и ласковый. Ни капли рисовки. Умные глаза смотрели внимательно, но не назойливо. Грусть сменялась усмешкой. Сам больной хлопотал о немущих больных. Помню, особенно озабочен был судьбой какого-то чахоточного студента, приехавшего без всяких средств лечиться в Крым. С Чеховым жила его мать, маленькая, худенькая старушка, такая же тихая и ласковая, как сын. Видно было, что он любит и ценит ее.

Раза два мне пришлось побеседовать с Антоном Павловичем наедине. Не было ни Горького, ни Миролюбова и никого посторонних. Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о «Жизни». Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил: — Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, он и любил, любил «горестно и трудно».

Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви», где огнем сердца выжжены слова:

«Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.

Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно сравнение женщины с вином. Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову. Да и кому она чужда?! Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он этого бы смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо.

Чувствуя себя далеко не безгрешным, Чехов никогда не кидал камня в человека, нарушившего заповеди половой нравственности. Горький, напротив, в этом отношении был очень строг.

Как-то раз, гуляя по Ялте, мы встретили местного книгопродавца караима Синани, которого знали все и который знал всех и обо всех. Он рассказал нам, что в одном из отелей остановился известный опереточный баритон, увезший из родительского дома влюбившуюся в него юную гимназистку.

— Сидят у окна и напоказ всем целуются.

— Эх, повстречать бы мне этого баритона, — сурово сказал Горький, — исковеркал бы я ему морду.

— А я бы поздравил его с победой, — заметил, улыбаясь, Чехов.

— А о девчонке-то вы подумали? Что с ней будет?

— Вероятно, они разойдутся, но у нее останется приятное воспоминание о радостных моментах свободной любви.

— Ну, это не так просто.

И, действительно, оказалось не так просто.

Вскоре в газетах появилось сообщение, что гимназистка, увезенная опереточным баритоном, покончила жизнь самоубийством.

Расспрашивал меня Чехов о Московском Художественном театре и о постановке «Дяди Вани», которую он тогда еще не видел.

— Как вам мой «Дядя Ваня» понравился? — спросил он между прочим.

Я сказал, что «Дядя Ваня» в постановке Художественного театра оставляет сильное впечатление.

— Не понимаю только, зачем вы заставляете дядю Ваню два раза стрелять в спину профессора Серебрякова? И неестественно выходит. Два раза Вишневецкий целится, стреляет почти в упор в широченную спину Лужского, и хотя бы оцарапал!

— Стрелять дядю Ваню я заставил, чтобы пробудить внимание публики. Мне казалось, что к моменту объяснений между дядей Ваней и профессором публика должна быть утомлена и может даже заснуть. Необходимо потревожить ее выстрелом. Но целиться в спину Лужского я Вишневого не уполномачивал.

В политических разногласиях Чехов не разбирался, вернее, не хотел разбираться. Улучшения жизни он ожидал от того, что лежит глубже этих разногласий.

Когда мы с Горьким стали нападать на «Новое Время», специально на Суворина и Меншикова, косвенно упрекая Чехова, что он с ними не порывает связи, Чехов заметил, что не видит особенной разницы между направлением «Нового Времени» и так называемых либеральных газет.

— Ну, а антисемитизм? А позиция «Нового Времени» в «деле Дрейфуса»?

Чехов согласился, что Суворин по отношению к делу Дрейфуса держал себя подло.

— Помню, — рассказывал при этом Чехов, — мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент «Нового Времени» Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг «дела Дрейфуса». Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает «Новое Время», по меньшей степени, непристойно. Суворин защищался слабо, и, наконец, не выдержав наших нападков, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал:

«Какая у него виноватая спина!»

Вероятно, в тот момент у Чехова тотчас сложился рассказ «Винноватая спина».

Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.

Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.

— Вот, — сказал Горький, — придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».

И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ:

В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками.

На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. На-лево от двери в комнатухе, отделенной досчатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.

А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.

— Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на-есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку, да ею потихоньку и ткни того, кого хочешь, чтобы не отстал. И не отстанет, моя милая. Так и прилипнет — не отдерешь. Ты уже мне поверь. Я зря говорить не буду. Женщина я старая, бывалая.

И вот курсисточка закрывает «Эмансипацию женщин» Милля и идет ловить черного кота.

К Горькому и его творчеству Чехов относился с большой симпатией. Появление каждого нового таланта его радовало. Он старался поддерживать начинающих писателей. Многих направлял ко мне, почему-то доверяя моему чутью.

Его собственные критические замечания бывали всегда своеобразны и порой очень метки. Вот, например, что он писал мне о творчестве Горького:

«... «Фома Гордеев» написан однотонно, как диссертация. Все действующие лица говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не просто, а нарочно, у всех какая-то задняя мысль, что-то недоговаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не знают, а это у них такой *façon de parler* — говорить и недоговаривать. Места в «Фоме» есть чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище, если только он не утомится, не охладет, не обленится.

«Трое» Горького в январской книжке мне, чрезвычайно понравились по тону письма. Девки неверны; таких нет, и разговоров таких никогда не бывает. Но все же приятно читать. В декабрьской книжке мне не так понравилось, чувствовалось напряжение. И напрасно Горький с таким серьезным лицом творит, надо бы полегче, немножечко бы свысока».

Во время моего пребывания в Ялте Чехов редактировал собрание своих сочинений, которые он, как известно, сравнительно дешево продал издателю «Нивы» Марксу.

Когда я уезжал, он попросил меня свезти корректуру в Петербург и передать ее лично Марксу.

— Боюсь, — сказал он при этом, — что я недостаточно строг к своим рассказам и пускаю в собрание сочинений вещи, этого не заслуживающие. Во всяком случае, все то, что не попало в собрание сочинений, никуда не годится, и я надеюсь, что оно никогда не появится на свет божий.

Как известно, эта надежда Чехова не исполнилась. После смерти его в издании того же Маркса появилось, если я не ошибаюсь, целых двенадцать томов забракованных Чеховым очерков и рассказов. Нельзя, конечно, всегда выполнять волю писателя в отношении посмертных изданий, нельзя, например, не приветствовать, что после смерти Толстого были изданы «Хаджи-Мурат», «Живой труп» и другие произведения, которые он считал не заслуживающим напечатания; но волю Чехова в данном случае следовало бы выполнить, так как дополнительные тома понижают впечатление, получаемое от тех томов, которые были изданы при жизни автора.

Осенью того же года я встретился с Чеховым в Москве. Был вместе с ним и с Горьким в Художественном театре, на представлении «Чайки».

Я до этого вечера не видел и даже не читал «Чайки». В одном из антрактов я подошел к Чехову, который стоял в вестибюле, прислонившись спиной к колонне, несколько закинув назад голову. Вид у него был унылый. Я подошел к нему и сказал:

— Антон Павлович, хочется вас поблагодарить за ту смелость, с какой вы решились крупного писателя, почти равного Тургеневу, вывести таким пошляком, как Тригорин.

Я тотчас почувствовал, что сказал что-то неладное. Чехов слегка вздрогнул, побледнел и резко сказал:

— Благодарите за это не меня, а Станиславского, который действительно сделал из Тригорина пошляка. Я его пошляком не создавал.

Когда я впоследствии прочитал «Чайку» и вдумался в Тригорина, то понял, что Тригорина Чехов создавал в известной степени по образу и подобию своему.

Во время следующего антракта мы сидели с Чеховым за кулисами. Когда после второго звонка мы шли к себе в ложу через фойе, то увидели Горького, окруженного толпою, преимущественно молодежи.

Горький что-то говорил своим глухим басом, затем раздался смех и аплодисменты. Оказывается, что Горького, проходившего по фойе, узнали, окружили и стали приветствовать аплодисментами. Горький вместо того чтобы раскланяться и поблагодарить, сказал приблизительно следующее:

— Чего вы, господа почтенные, на меня уставились? Что я, утопленник или балерина? Подумали бы лучше о той замечательной пьесе, которую вы пришли смотреть.

Характерно, что такая отповедь не обидела почитателей Горького, а лишь увеличила его популярность.

Популярность, разумеется, не особенно тяготила Горького. Когда я с ним встретился в Нижнем, после его второй поездки в Крым в 1899 году, когда нарасхват брались два томика его очерков и рассказов, Горький с шутливым самодовольством говорил:

— Удивительная это штука — сделаться знаменитостью! Ходишь по улице, а на тебя все как на крокодила смотрят. Кодаки так и щелкают. На обеды с поклоном зовут; а от приглашений на чай — отбою нет.

После осени 1900 года я с Чеховым больше не виделся. Несколько раз он собирался приехать в Петербург, но здоровье не позволяло.

«Кашель у меня свирепый, уж пять, шесть дней, но в общем здоровье мое хорошее, грех пожаловаться», — писал он мне с горькой иронией 3 марта 1901 года.

Настроение у него в это время было довольно унылое.

«Будьте добры, — писал он, — вспомните, что я одинок, что я в пустыне, сжальтесь и напишите, во-первых, что нового в цивилизованном мире, во-вторых, где теперь Горький, куда ему писать, и в-третьих, не думаете ли вы приехать в Ялту отдохнуть?»

К «Жизни», к Горькому и ко мне лично отношение его было неизменно дружеским.

21 мая 1901 года Чехов, которому я писал, если я не ошибаюсь, из «предварилки», ответил мне так:

«Дорогой Владимир Александрович. Ваше письмо пошло в Ялту, оттуда в Москву, где я нахожусь ныне, оттого я получил его только вчера: не сердитесь же, что так запаздываю ответом. Вас выпустили? Горький уже выпущен дня четыре назад; он весел и здоров, под домашним арестом будет не больше десяти дней⁵⁷. Я видел доктора, который его свидетельствовал, и Мирюлюбова, который ездил в Нижний хлопотать у Святополка-Мирского; и сведения от обоих получил весьма успокоительные.

Я чувствую себя недурно, но все же, как оказывается, здоровье мое сильно подгуляло, и я должен ехать на кумыс. Это все равно, что ехать в ссылку. Пробуду я на кумысе месяца два, и если бы вы выслали мне туда майскую и июньскую книжки «Жизни», то я был бы благодарен вам — не знаю как! Свой кумысский адрес вышлю вам в пятницу, в день отъезда.

Рассказ непременно пришлю. Непременно! Зарежьте меня, если не пришлю.

Ваша статья про Московский Художественный театр мне очень понравилась. Но почему в Питере «Одинокое» Гауптмана пришлось так не по вкусу? Почему они нравились в Москве?

В будущем сезоне пойдет моя «Чайка».

Надо бы с вами повидаться этим летом — как вы думаете? В июле я буду ехать обратно из Уфимской губ., буду тогда в Москве. И не заехать ли в Петербург? Я давно уже не был в Петербурге, кстати сказать. Напишите, где вы будете летом, что и как, авось и повидаемся.

Будьте здоровы и благополучны, отдыхайте после предварилки и набирайтесь здоровья. Крепко жму вашу руку. Ваш А. Чехов.

Когда после закрытия «Жизни» правительством, я решил продолжать ее издание за границей на вольном станке и обратился к старым сотрудникам с просьбой поддержать мое начинание, одним из первых откликнулся Чехов. откликнулся совершенно просто, без малейшей боязни скомпрометировать себя в глазах русского правительства.

«Дорогой Владимир Александрович, — писал он мне 22 декабря 1902 года, — я был нездоров почти весь месяц, теперь поправляюсь и скоро засяду за работу. Я пришлю вам повесть листа в два или полтора, только не к февральской книжке, а, вероятно, к апрельской, или даже майской.

Это вы хорошо задумали — и дай бог вам полного успеха.

Живу я в Ялте, вдали от мира, от цивилизации, как монах, скучаю; жена моя в Москве, играет в Художественном театре. Летом я и она думаем поехать за границу.

Крепко жму вам руку и шлю тысячу хороших пожеланий. И с новым годом поздравляю кстати.

Душевно ваш А. Чехов.

Л. Толстой живет в Гаспре (почт. адрес: Кореиз, дача Паниной), верстах в десяти от Ялты. Крым ему очень нравится, он в восторге. Здоровье его недурно, но старчески недурно. Горький в Олензе; тоже пока незаметно, чтобы он скучал. Его адрес почтовый тоже Кореиз».

Быстро развивавшийся туберкулезный процесс не позволил Чехову выполнить свое обещание написать рассказ для свободной «Жизни». Последние полтора года своей жизни он вообще, кажется, ничего не писал.

При жизни Чехова я его очень любил и как человека, и как писателя, но все же настоящим образом творчество его я оценил спустя пять-шесть лет после его смерти.

В 1909 году я читал публичные лекции в Грозном. Читал о Толстом и Достоевском. Ко мне явились гимназистки старшего класса местной гимназии и просили прочесть лекцию о Чехове. Но я отказался, откровенно заявив, что Чехова я читал, но не изучал. Они очень огорчились и, уходя, добродушно сказали:

— Вы уж, пожалуйста, Чехова хорошенько изучите: он нам гораздо ближе Достоевского и Толстого.

Я послушался гимназисток и, вернувшись в Петербург, стал серьезно изучать Чехова. Я понял тогда, что он не комик, а трагик обыденной жизни.

Трагедии Мисаила в «Моей жизни», художника в «Доме с мезонином», доктора в «Палате № 6», Кати и профессора в «Скучной истории», Липы в «Овраге», Якова в «Скрипке Ротшильда» и многих других не менее значительны и гораздо понятнее и ближе нам, чем трагедии героев Шекспира.

Я увидел у Чехова не придуманную и не прикрашенную, а настоящую мужицкую правду, я понял, почему Чехов мог предвидеть революционную бурю, которой суждено было стряхнуть с нас лень и поднять в нас уважение к творческому труду.

Когда я прочел лекцию о Чехове, как трагике обыденной жизни, в Томске, то ко мне подошел профессор Боголепов и, пожав руку, поблагодарил за то, что я открыл ему Чехова, которого раньше он не знал.

Когда ту же лекцию я прочел в Грозном, то генерал, сидевший в первом ряду, вскочил и, потрясая в мою сторону кулаком, вскричал:

— Это не революционер, это хуже — это бунтовщик!

Генерал, в сущности, грозил не мне, он грозил понятию мною Чехову.